

Недолго, совсем уже недолго осталось ждать хорошего времени, когда в каждом доме будут сидеть вечерами под умным абажуром и читать вслух Юрия Ковалю. Уже и так гулом гудит в частных разговорах, колотит мониторы Интернета, ауреается на весь крещеный мир: нет, мужики, какой писатель!

Ранним утром второго ноября со зверофермы «Мшага» бежал недопесок Наполеон Третий.

И все, понеслось, не оторваться от этой легкой, стремительной, дельной, приветливой прозы.

А у самого-то Ковалю — откуда у него восхищение чудом речи? Может, этому его в студенческие годы научили в «кузнице гениев» — МГПИ?

Два наиглавнейших имени неустанно повторяет Юрий Коваль. Первое — Протопопов.

Владимир Николаевич был великий учитель.

Вот так, не меньше.

Он вошел в класс, брякнул свой рюкзак на стол, подошел к окну, распахнул его настежь. Борода развевается. Повернулся и зашел: «Среди долины ровныя, на гладкой высоте». И спел всю песню.

Улица Чаплыгина, 657-я средняя школа.

Второе имя. Здесь надо упомянуть коммуналку на Рождественском, где «белобородый, в синем стареньком костюме» сидит на своей железной кровати ласковый слепой старик.

За окном громыхали трамваи и самосвалы, пыль московская оседала на стеклах, и странно было слушать музыку и слова былины, пришедшие из давних времен:

*А и ехал Илья
путями дальними,
Наехал три дороженьки
нехоженых...*

Борис Викторович Шергин был русский писатель необыкновенной северной красоты, поморской силы.

Бориса Викторовича я считал своим духовным учителем.

Все-таки возникают вопросы. Почему безвестен, если писатель необыкновенной красоты и силы? Почему, наконец, духовный учитель? В каком смысле?

Проза Юрия Ковалю нежно мерещит ковенными ответами. Изредка слова становятся жесткими, прямыми.

Белла АХМАДУЛИНА:

Я читаю и перечитываю сочинения Юрия Ковалю.

И тогда все живы: люди, дети людей, животные, дети животных, птицы и дети птиц, реки, моря, озера, земля и созвездия Ориона и мы — бедные дети всего этого вместе, малого поселка и всеобщего селения, упомянутых существ и не упомянутых звезд и сияний.

Нежность ко всему, что живо, или убито, или может подлежать убиению, ваяв ощущается как бессмертие.

Мы знаем: душа бессмертна, но и при жизни хочется быть наивно уверенным в сохранности всего, что любила душа. Упасаем нас всегда дар художника, милость, ниспосланная ему свыше, нам — в подарок. Это без меня известно.

Но мне же это не могло бы быть известно, ежели бы не язык Юрия Ковалю. Письменная речь Юрия Ковалю взлелеяна, пестуема, опекаема всеми русскими говорами, говорениями, словесностями и словесными своеволиями.

Фазиль ИСКАНДЕР:

Первое, что меня тронуло в его произведениях, — это юмор. Необыкновенный

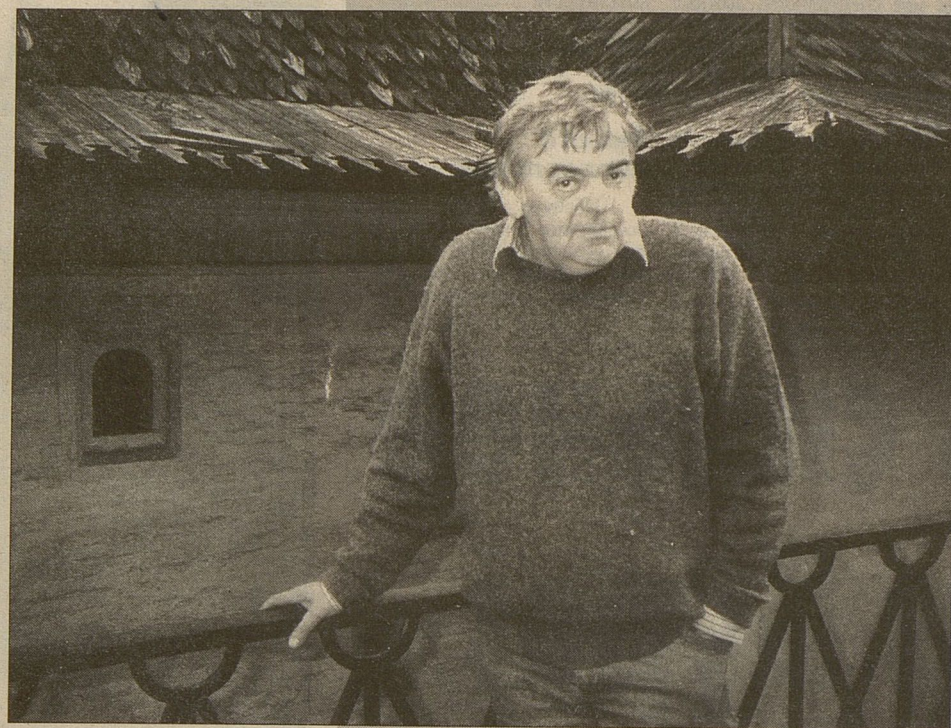


Фото Ирины СКУРИДИНОЙ

Вначале было Слово. Например — «макарка»

На литературном небосклоне вспыхивали тогда и отгораживались звезды разной величины, они брали на себя все внимание бурлящего современного мира, а в самом центре Москвы кое-как сводил концы с концами Борис Шергин. Поразительно было равнодушие именитых писателей, летящих на гребне славы. Его ведь знали многие, да позабыли.

А другие, к стыду нашему, не знали, не читали и даже не слышали этого славного имени, а если слышали фамилию, то произносили ее неправильно (правильно — Шергин).

Как писатель Юрий Коваль имеет немного общего с Шергиным. Где у Шергина золототканая парча, у Ковалю блестящая бусинка.

— Нету протоки, — сказал Натоллий-всадник-монтер. — Откуда ей быть?

— Как же нету протоки? — сказал капитан-фотограф, обираясь ко мне. — Говорили же — есть протока.

— Нету, парень, нету протоки, а макарка совсем заросла.

— Какая макарка? — А какая на озеро ведет. — А как она выглядит, эта макарка-то?

— А никак не выглядит, — сказал Натоллий. — Я ж говорю, заросла.

Коваль весело мусолит колоритное словцо. Пробует его языком, перекатывает во рту. Ликует и лукавит.

В своей МГПИшной плеяде Коваль один такой. Юрий Визбор, Петр Фоменко, Юрий Ряшенцев, Юлий Ким — всех люблю, все прекрасные, но нет у них этой школы, иначе нас тогда учили. Мы росли на суррогатах подворотен — «В нашу гавань заходили корабли» и т. п. Взрослели в кичливом убеждении, что вся Россия говорит по-русски неправильно. Юмор наших студенческих песенок порой сводился к передразниванию какого-нибудь «чаво».

...Шел начинающий писатель через глухую деревню Чистый Дор, потому что ему, как всем нам, «надо дальше идти». А взял да остался. И прожил «не день, не месяц, а целый год», тайком обожая шестилетнюю Нюрку. Не месяц, не год, а целую жизнь прожил по Протопопову и Шергину — внимая дарам, даря в ответ.

Не деревня ведь глухая — самому не оказаться бы глухим. Сладка родная речь, когда она не телеграфный столб, не англофонский стейб — аргумент мелкого оптового истребителя.

«Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а полновины русских слов не знаем». Это не Шергиным — Пушкиным сказано. Пушкин, чей словарный запас богаче богатого, сделал такое грустное признание за несколько дней до смерти. Радовался, подобно Ковалю, при звуке новооткрытого слова...

● Дмитрий СУХАРЕВ

ЗА КУЛИСАМИ

жания в этой области, именно от этого высокого литературного страха. За слово он выплачивал очень дорого, поэтому, чтоб не прерываться, надо было еще что-то делать.

Абсолютный слух, удивительная прозрачная проза. Но мы в основном любили и хвалили его друг друга, а он ждал немножко, чтобы ему сказали, что он серьезный писатель. Так что есть вина, надо было больше его целовать, обнимать и хвалить. Он все отдал своим книгам, и поэтому книги эти будут жить всегда.

Юлий КИМ:

Необыкновенный архипелаг Юрия Ковалю — это роскошная проза. Как будто мастер дорвался до полной свободы писать без оглядки на жизненную достоверность. Он, конечно, уже пробовал, он приплыл к Суеру-Вьеру на бамбуковой лодке, но, пока плыл, еще оглядывался на достоверность и правдоподобие, а когда наконец впал в Суер-Вьерский океан, то уже полетел безоглядно, на всех парусах, и все эти многочисленные острова его реальных симпатий, антипатий и пристрастий стали прекрасным поводом для этой фантастической прозы.

юмор, совершенно своеобразный, вызывающий то улыбку, то хохот. Я бы сказал, что его юмор — это правда, не требующая никаких доказательств. Доказательством правды является именно то, что мы смеемся или улыбаемся. Вот такая своеобразная юмористическая правдивость меня, конечно, поразила в его вещах.

Вторая черта его стилистики — совершенно необычайная легкость. Конечно, такая легкость, наверное, в процессе работы достигается нелегко. Но он ее достигает. И подобно тому, как он назвал одну из своих книг «Самая легкая лодка в мире», я бы сказал, что он — самый легкий писатель нашей страны. Эта легкость как высокое очень качество, отчасти я даже бы сказал — пушкинское качество.

Андрей БИТОВ:

Грустно это все. Хотя как-то с Юрой не вяжется понятие грусти. А он был грустный человек сам по себе, но он это в себе держал.

Я вообще измеряю художника способностью восхититься. Вот Юра умел восхищаться. Мне кажется, он строгал и рисовал, несмотря на очевидные дости-

Юрий КОВАЛЬ:

Монохроники

Монохроники — это какой-то новый (для меня) жанр. Ясно, что это не дневник, ежедневные записи для меня невозможны, тогда пришлось бы бросить всю работу и писать и рисовать только монохроники. И все-таки кое-что есть в них и от дневника. Записи автобиографичны, хотя я считаю возможным иногда переиначить события, глянуть на них глазами художника.

Во-многом, «Монохроники» — это случайный сбор. Хотелось что-то записать, нарисовать — «Монохроники!» Точной системы моей жизни в них нет, есть, наверное, какое-то общее движение.

Страницы «Монохроник» я охотно предоставляю друзьям, пусть они пишут и рисуют что хотят. Однако «Монохроники» — это не «Чукоккала», это не рукописный журнал, это все-таки неполная и разрозненная, но хроника моей жизни.

* * *

«Узы Язузы» — такое название придумали мы когда-то для групповой выставки друзей-художников. Выставка сорвалась, а вот узы остались.

Даже странно, но все друзья, которые бывают у нас с В. Беловым в мастерской, считают себя язузцами, тянутся к Язузе, пишут Язузу. Песню про Язузу, которую я начал очень давно, продолжаю писать, и в этом году добавил несколько строф:

*Ограждена от нас
гранитом,
Как воробей невелика,
Под небом,
осенью залитым,
Течет забытая река.*

*В ней отражаются антенны,
Пустые окна, чердаки,
В ней стынут
хлопья мыльной пены,
Преображаясь в островки.*

*Черна чугунная решетка,
Спокойствие забытых вод,
Веслом не беспокоит*

*лодка,
Плотвой поверхность
не блеснет.*

*Зимой обернется лето,
И вздрогнет бедная вода.
Отравой теплою согрета,
Моя река не помнит льда.*

*На нашей набережной
осень.
За тополями старый дом.
Дом двадцать семь,
квартира восемь,
В котором мы еще живем.*

* * *

Поражает, как Бог дает людям.

Вот на Белоусовском озере я встретил охотника (москвича). Он добыл 13 селезней и радуется, радуется и еще хочет. А мне Козьма да Демьян дали двух селезней с шоколадной головкой и двух вальдшнепов. Немного — по сравнению с тем охотником. И вот я думаю, что тот человек был «без света». Такие «без света» могут, умеют взять и берут. Добытое, взятое — это вознаграждение, возмещение, извинение за то, что они «без света». Был бы я «полного света», ничего бы не получил. Ну а я — «наполовину светлый», и вот мне — двух вальдшнепов и двух селезней с шоколадной головкой.

Ровно столько, сколько мне полагается.

* * *

Меня радует ежедневное утро и печалит ежедневный вечер. Утро — вечер, утро — вечер — просто замучаешься. То радуешься, то печалишься,

то радуешься, то печалишься. Сам не знаю, отчего я утром радуюсь, а вечером печалюсь. Так получается. Утром, когда радуюсь, я особенно строг и серьезен, а вечером, когда печалюсь, веселюсь, бывало, напропалую.

Так бывало и вчера, и сегодня. Будет завтра и послезавтра. Пускай так и будет. Не дай Бог, дожить до печального утра, когда придется веселиться.

* * *

Тушенка. Когда, зачем, откуда взялось вдруг на свет это слово?

Всегда было тушеное мясо, тушеные овощи, рыба... Тушеное-то было, а тушенки не было. И не надо было бы ей быть, никто ее не звал, но, омерзительная, она явилась. Конечно, во время войны и, конечно, из Америки.

В конце концов это не существенно, откуда она взялась. Наплевать. Но слово-то само, слово, какое неприятное слово, и ясно уже, что слово это заключено в железную банку.

А рядом с «тушенкой» ходит невероятно противное слово — «консервы».

Вот уж кошмар — «консервы»! Надо же было человечеству развиваться аж до слова «консервы». Вот уж падение нравов. «Консервы» и «тушенка» — это окончательный провал человечества.

* * *

Вчера ночью написал 10 (во мужик!) стихотворений. И утром, не перечитывая их, sheer. Одно, посвященное Белову, все-таки сохранил. Оно — идиотское, вот почему и нравится мне.

Белову Витьке, который сейчас болеет, как и я.

*Друзья — в Париже,
или — в Штатах,
Лишь только мы с тобой,
мой друг,*

*Сидим в своих
больных халатах
Среди глухих своих двух ух.*

Не Ахматова, конечно, но Тарковский бы смеялся над последней строчкой. Пытаюсь о нем написать, но нужно огромное очищение, чтоб получилось как надо.

Бересклет

Я давно уже тайно заметил гениальное слово — «бересклет».

В чем его гениальность, я нарочно не докапывался. Не надо же все всегда понимать. Но подумайте: «бересклет» — гениально и все. И хватит. И живи дальше, и знай — «бересклет».

Так я жил и знал. И под Тарусой, под деревней Лодыжино, у берега Оки, я всегда видел бересклет, и смеялся, что научно он — «бересклет бородавчатый». И я ошупывал эти бородавки счастливо, и знал, что его цветопробы называются «сорочьи очки».

Это счастье быть с бересклетом. Поверьте, что растение только от Бога. Так оно устроено.

Когда умер Юра Визбор, я жил в Переделкине. На место похорон старого друга я поехал очень рано и думал: с меня ветка бересклета. Но где взять? Стал искать и, представьте, нашел простейший бересклет на крутом берегу пруда. Я отломил две веточки и первым положил их на могилу друга. Потом мой бересклет завалили розами...

Года через два я снова пытался над прудом найти тот бересклет — не нашел. Не произрастает, что ли?

● Публикация
Натали КОВАЛЬ